

Предисловие немецкого издателя

Никакая книга не нуждается так в предисловии, как предлагаемая, без него будет непонятно, каким удивительным образом книга эта приняла такой странный вид — вид смеси.

Потому издатель просит благосклонного читателя непременно прочесть предисловие.

У упомянутого издателя есть друг, с которым он живет душа в душу, которого он знает, как самого себя. Этот-то вот друг сказал ему однажды приблизительно следующее:

«Ты, любезный, напечатал уже много книг, и у тебя много знакомых среди издателей; тебе, следовательно, легко будет найти кого-нибудь, кто по твоей рекомендации напечатает некоторую вещь, написанную недавно молодым автором блестящего таланта и отличнейших способностей. Обрати на него свое внимание, он этого вполне заслуживает».

Издатель обещал сделать для коллеги-писателя все возможное. Его немного удивило, впрочем, одно обстоятельство, именно признание друга, что рукопись принадлежит коту по прозвищу Мурр и содержит в себе житейские взгляды этого последнего; слово, однако, было дано, и, так как вступление показалось издателю написанным очень хоро-

шим стилем, он тотчас же с рукописью в кармане отправился на улицу Unter den Linden к господину Дюммлеру и предложил ему издание книги, написанной котом.

Господин Дюммлер подумал, что до сих пор среди авторов, которых он печатал, не было еще ни одного кота; кроме того, насколько ему было известно, никто из его почтенных коллег не имел до сих пор никакого дела с писателями такого рода, тем не менее он решился сделать попытку.

Печатание началось, и издателю были представлены первые пробные листы. В каком же он был ужасе, когда увидел, что история Мурра то здесь, то там прерывается и в промежутках в ней сделаны вставки, относящиеся к другой книге и содержащие в себе биографию капельмейстера Иоганна Крейслера.

После тщательных расспросов и расследований издатель узнал наконец следующее. Когда кот Мурр излагал свое мировоззрение, он без всякой церемонии разорвал одну книгу, найденную им у своего господина и, беззаботно подкладывая ее листы под свою рукопись, употребляя их в качестве пропускной бумаги. Листы эти остались среди листов рукописи и по недосмотру были перепечатаны как необходимое к ним дополнение.

С прискорбием и грустью издатель должен сознаться, что спутанная смесь совершенно различного материала появилась в свет в таком виде лишь благодаря его собственному легкомыслию: он должен был внимательно просмотреть рукопись кота, прежде чем отдавать ее в печать, тем не менее для него еще осталось некоторое утешение.

Во-первых, благосклонный читатель легко выйдет из затруднения, если он снисходительно пожелает обращать внимание на поставленные в скобках знаки: «*Мак. л.*» («Макулатурные листы») и «*М. прод.*» («Мурр продолжает»); затем, так как никто ничего не знает о разорванной книге, можно заключить с высокой степенью вероятности, что она никогда не была в продаже. Другьям капельмейстера, по крайней мере, должно быть приятно, что благодаря литературному вандализму кота они получают некоторые сведения о необычайных приключениях этого — в своем роде очень достопримечательного — мужа.

Издатель надеется на милостивое прощение.

Верно, наконец, и то, что авторы самыми смелыми своими мыслями, самыми удачными оборотами нередко бывают обязаны своим снисходительным наборщикам, содействующим полету их идей посредством так называемых опечаток. Так, например, пишущий эти строки говорит во второй части своих ноктюрнов об обширной рощице (Boskett), находящейся в саду. Это показалось наборщику недостаточно гениальным, и он вместо слова Boskett («рощица») поставил слово Caskett («фуражка»). В рассказе Fraulein Scudery наборщик лукавым образом представляет упомянутую фрейлейн не в черном платье (Robe), а в черном цвете (Farbe) и так далее.

Но каждому свое! Ни кот Мурр, ни неизвестный биограф капельмейстера Крейсера не должны быть воронами в павлиньих перьях, и потому издатель настоятельно просит благосклонного читателя исправить опечатки, прежде чем он примет-

ся за чтение этого произведения, дабы он не думал о каждом из двух авторов ни лучше, ни хуже, чем они заслуживают. В заключение издатель берет на себя смелость уверить, что он лично познакомился с котом Мурром и нашел в нем особу приятно-го, кроткого нрава.

Берлин, ноябрь 1819. Э. Т. А. Гофман

Предисловие автора

Робко, с трепещущим сердцем я передаю миру эти повествования о моей жизни, страданиях, надеждах, стремлениях, вылившиеся из тайников души моей в сладостные часы досуга и поэтического вдохновения.

Устою ли пред строгим судом критики? Но ведь я писал для вас, о чувствительные души, о чистые, детские натуры, о родственные мне, верные сердца, и одна-единственная слезинка из ваших глаз утешит меня, исцелит рану, нанесенную холодным осуждением бесчувственных рецензентов.

Берлин, май, года 18...

*Мурр
(Étudiant en belles lettres)¹*

Предисловие, уничтоженное автором

Со спокойной уверенностью, составляющей прирожденную черту истинного гения, я передаю миру мою биографию для того, чтобы он понял, как доходят до положения зрелого кота, чтобы он познал мои превосходные качества во всем их объеме, дивился мне, любил меня, ценил, почи-

¹ Новичок в литературе (фр.).

тал и немного обожал. Если кто-нибудь окажется настолько дерзким, что решится подвергать сомнению необычайные достоинства этой замечательной книги, пусть он помнит, что он имеет дело с котом, в распоряжении у которого есть ум, рассудительность и острые когти.

Берлин, май, года 18...

Мурр

(Homme de lettres très renommé)¹

P. S. Какая досада! И то предисловие, которое должно было подвергнуться уничтожению, оказалось напечатанным!

Ничего не остается, как просить благосклонного читателя не относиться слишком строго к несколько гордому тону этого предисловия и принять в расчет, что, если бы взять какое-нибудь умиленное предисловие другого чувствительного автора и перевести его на язык затаенных мнений этого последнего, оно немногим бы отличалось от вышеупомянутого.

Издатель

¹ Писатель, достигший большой известности (*фр.*).

ТОМ ПЕРВЫЙ

Раздел первый

ОЩУЩЕНИЯ БЫТИЯ. МЕСЯЦЫ ЮНОСТИ

Что это за прекрасная, возвышенная, чудная вещь — жизнь!

«О ты, сладкая привычка существования!» — восклицает известный нидерландец, герой трагедии.

Точно так же восклицаю и я, но не как тот герой в скорбную минуту расставания с жизнью — о, нет! — именно в тот момент, когда я полон восторженного сознания, что я только что всецело сроднился с этой сладостной привычкой и отнюдь не намерен когда-либо с ней расстаться.

Я разумею, точнее говоря, что духовная сила — неизвестная власть или, как там еще можно назвать, управляющий нами принцип, в известном смысле насильственно навязавший мне упомянутую привычку, — должна была иметь гораздо более худшие намерения, чем тот ласковый человек, к которому я поступил в услужение и который, подставив мне под нос блюдо с рыбой, не отдернет его в ту самую минуту, когда я только что начну лакомиться.

О природа, святая, величественная природа! Как проникнута вся моя взволнованная грудь твоей негой, твоим очарованием, как обвеивает меня твое

таинственное, полное шепота, дыхание! Ночь несколько свежа, и я хотел бы... Впрочем, ни один читатель, прочтет или не прочтет он эти строки, не будет в состоянии понять моего высокого вдохновения, потому что он не знает той высокой точки зрения, до которой я воспарил! Вернее было бы сказать «вскарабкался», но ведь никакой поэт не говорит о своих ногах, хотя бы у него их было четыре, как у меня; поэт говорит только о своих крыльях, если даже они не выросли у него от природы, а являются ухищрениями искусного механика. Надо мной высится глубокий купол звездного неба, полная луна бросает на землю свои искристые лучи и в огненном, серебряном блеске стоят вокруг кровли и башни! Все больше и больше замирает внизу на улицах шумная суетня, тише и тише становится ночь — мимо плывут облачка, — одинокая голубка, воркуя и изливая грусть в боязливых любовных жалобах, вьется вокруг колокольни! О, если бы прекрасная малютка пожелала приблизиться ко мне! Я чувствую, что я полон каким-то чудным волнением, с неудержимой силой меня охватывает какой-то мечтательный аппетит! О, приди ко мне, прелестная чаровница! Я хотел бы прижать тебя к своему больному сердцу и никогда не отпускать от себя! Ха, вон летит она в голубятню, коварная, и оставляет меня здесь, на крыше, тоскующего и безнадежного! Как редко, однако, можно встретить истинную симпатию сердец в это жалкое, черствое, чуждое любви время!

Разве в вертикальном хождении на двух ногах заключается какое-нибудь величие, что порода, называющая себя людьми, изъясняет притязание на го-

сподство над всеми нами, над существами, которые с более надежной устойчивостью ходят на четырех ногах? Но, я знаю, они воображают, что это величие заключается в том, что должно находиться в их головах и что они называют разумом. Не могу себе составить ясного представления, что это собственно за вещь, но, во всяком случае, я не желал бы поменяться ролями ни с каким человеком, насколько я могу — по словам моего господина и покровителя — заключить, что под разумом нужно понимать способность поступать сознательно и не делать никаких глупостей. Вообще я думаю, что сознание есть дело привычки; начинаешь жить и проходишь путь жизни, но как — этого никто не знает. По крайней мере, так было со мной, и, сколько мне известно, ни один человек на свете не знает подробности своего рождения по личному опыту, а только по традиции, которая к тому же часто бывает крайне неверна. Города спорят между собой о месте рождения знаменитого мужа; точно так же останется навсегда неизвестным — потому что я сам не знаю ничего в точности, — в подвале, или на чердаке, или в дровяном сарае увидел я свет или, скорее, не увидел, а, появившись на свет, был увиден моей милой мамашей. Потому что, как свойственно нашей породе, глаза мои были покрыты пеленой. Как в тумане припоминаю я резко раздававшиеся ворчливые звуки, которые я испускаю почти против своей воли, если мной овладевает гнев. Яснее и почти с полным уже сознанием ощутил я себя в каком-то чрезвычайно узком вместилище с мягкими стенами; я едва мог дышать и, полный скорби и тоски, выпускал жалобные крики. Что-то такое опустилось в мое помеще-

ние и весьма нелюбезно схватило меня за живот; это дало мне повод впервые проявить дивную способность ощущать и действовать, дарованную мне природой. Из передних своих лапок, покрытых роскошным мехом, я быстро выпустил острые, гибкие когти и вцепился ими в ту вещь, которая схватила меня и которая, как я узнал впоследствии, была не чем иным, как человеческой рукой. Эта рука вытащила меня, однако, и отшвырнула, после чего я тотчас почувствовал два сильных удара по обеим сторонам моего лица, на котором теперь красуется, смею сказать, великолепная борода. Насколько могу теперь судить, рука, оскорбленная игрой мускулов, управляющих моими лапками, отвесила мне две пощечины, впервые я узнал по опыту моральную причину и следствие, и именно моральный инстинкт побудил меня спрятать когти почти так же быстро, как я их выпустил. Впоследствии моя способность быстро прятать когти была вполне справедливо оценена, как проявление любезности и, так сказать, *bonhomie*¹, и я получил кличку «бархатные лапки».

Как сказано, рука швырнула меня на землю. Но почти тотчас же она опять схватила меня за голову и пригнула ее вниз, так что я своей мордочкой попал в жидкость, которую тотчас же начал лакать, что возбудило во мне особое внутреннее довольство; почему я так скоро догадался, что нужно делать, решительно не понимаю, вероятно, это был физический инстинкт. Теперь я знаю, что напиток, который я вкушал, был сладким молоком. Я чувствовал голод и, пока пил, насытился. Таким-то об-

¹ Добродушие (фр.).

разом началось мое физическое развитие вслед за моральным.

Снова, но нежнее, чем прежде, меня взяли две руки и положили на теплую, мягкую постель. Все отраднее и отраднее становилось у меня на душе, и я начал проявлять свое внутреннее довольство посредством особых свойственных только моей породе звуков, к которым люди весьма удачно применяют выражение «мурлыкать». С этой минуты я стал двигаться вперед в своем светском образовании поистине гигантскими шагами. Какое преимущество, какой чудный дар неба — способность звуками и жестами выражать свое душевное благополучие! Сперва я только мурлыкал, потом у меня проявился неподражаемый талант придавать своему хвосту самые живописные позы, потом — волшебный дар посредством единственного маленького слова «мяу» выражать радость и скорбь, негу и восторг, тоску и отчаяние — словом, все ощущения и страсти в разнообразнейших их степенях. Что значит человеческий язык в сравнении с этим простейшим способом быть понятным для других!

Но дальше будем продолжать достопамятную, поучительную историю моей юности, столь богатой событиями!

Я очнулся от глубокого сна, я был залит ослепительным блеском, устранившим меня, спала пелена с глаз моих: я прозрел!

Прежде чем я мог свыкнуться с ярким светом, в особенности же с пестрой картиной, представшей моим глазам, я должен был несколько раз подряд чихнуть; но вскоре после этого зрение мое начало

действовать так прекрасно, как будто бы я был зрячим уже давным-давно.

О Зрение! Ты удивительная привычка! Без тебя трудно было бы жить на белом свете! Счастливы те высокоодаренные существа, которым зрение дается так же легко, как мне.

Не могу, впрочем, отрицать, что я впал в некоторое беспокойство и испустил жалобный вопль, такой же, как во время своего пребывания в тесном помещении. Тотчас же показался маленький, худой, старый человек, который навсегда останется для меня незабвенным, потому что, несмотря на мои обширные знакомства, я никогда не видал ни одной личности, равной ему или хотя бы способной идти с ним в сравнение. Среди существ моей породы случается часто, что та или другая зрелая особа обладает белым или черным мехом с пятнышками, но чрезвычайно редко можно найти кого-нибудь, кто бы имел белые, как снег, волосы на голове и в то же время черные брови цвета воронова крыла — как раз такое сочетание цветов было у моего воспитателя. Дома он носил короткий, ярко-желтый шлафрок, наводивший на меня ужас, благодаря чему, как только мой господин приближался ко мне, я кое-как, насколько мне позволяла моя беспомощность, сползал с белой подушки, на которой лежал. Господин мой нагибался ко мне с ужимкой, казавшейся мне дружеской и внушавшей доверие. Он брал меня на руки, и я благо-разумно воздерживался от игры мускулов, управляющих когтями, — идеи «царапать» и «получать удары» естественно соединялись в моем уме; и на самом деле, у моего покровителя всегда были хоро-

шие намерения, потому что он ставил меня перед блюдечком со сладким молоком, которое я жадно лакал, чем он немало забавлялся. Он много говорил со мной, но я его не понимал, потому что тогда мне, неопытному молоденькому котенку, было еще чуждо понимание человеческой речи. Вообще я мало что могу сказать о моем покровителе. Но не подлежит никакому сомнению, что он должен был иметь большие познания в разных отраслях наук и искусств, потому что все, приходившие к нему (среди них я заметил некоторых людей, у которых на груди были крест или звезда на том самом месте, где природа наделила меня желтым пятнышком)... Итак, все, приходившие к нему, обращались с ним необычайно учтиво, иногда даже с оттенком боязливого преклонения, как впоследствии я с пуделем Скарамушем, и называли его не иначе, как «мой достопочтенный, мой драгоценный, мой неоцененный мейстер Абрагам!» Только две особы называли его просто «любезный» — высокий тонкий господин в светло-зеленых панталонах и белых шелковых чулках и маленькая, чрезвычайно плотная госпожа с черными волосами и множеством колец на всех пальцах. Господин, должно быть, был князем, госпожа — еврейской дамой.

Но, несмотря на своих знатных посетителей, мейстер Абрагам жил в маленькой комнатке, расположенной очень высоко, так что мне чрезвычайно удобно было делать через окно первые свои прогулки на крышу и на чердак.

Да, не иначе я рожден на чердаке! Что подвал, что дровяной сарай, родина моя — чердак! Климат, отечество, нравы, обычаи, как непогасимо

ваше влияние! Вы, и только вы определяете внешнее и внутреннее развитие гражданина! Откуда во мне это величие духа, эта любовь к возвышенному? Откуда эта редкостная, чудная способность вскарабкиваться вверх, это завидное умение совершать самые смелые, гениальные прыжки? Ха! Сладкое и грустное чувство наполняет мою грудь! Властно подымается во мне порыв к моему родному чердаку! Тебе посвящаю я эти слезы, о дорогая родина, тебе это грустное, но торжествующее «Мяу!». Тебе во славу совершаю я эти прыжки, эти скачки, свидетельствующие мою добродетель и патриотическое мужество! Ты, о чердак мой родимый, рсточаешь мне щедрой рукой мышек в большом количестве, в твоих пределах я могу иногда стянуть из дымовой трубы кое-какие колбасы или куски сала, здесь же я ловлю воробьев, а порой даже подстерегаю голубя. «О, родина, сильна к тебе любовь!»

Но о моем воспитании, о первых...

(Мак. л.) ...а помните ли вы, всемилостивейший государь, ту страшную бурю, которая застигла адвоката в то время, как он шел ночью через Пон-Неф, и сбросила в Сену его фуражку? Нечто подобное есть у Рабле, но, собственно, ведь не буря сорвала фуражку с головы адвоката, он крепко держал ее своей рукой, предоставив плащ игре ветра; это был гренадер, который с громким возгласом: «Ужасный ветер, милостивый государь!» — проскакал мимо и тотчас сорвал с его парика прекрасную кастановую шляпу; и не кастановая шляпа полетела в Сену, а, напротив, гадкая фуражка солдата под суровым ветром обрела в волнах влажную смерть. Вы знаете все, милостивейший государь,